



ИРИНА
ЧАЙКОВСКАЯ
Бостон

Беседа с поэтом
Ларисой Миллер

СТИХ, ПОБЕЖДАЮЩИЙ ТРАГЕДИЮ



- Лариса, последнее время многие «общественные фигуры», например, участники телепередачи «Линия жизни», в рассказе о себе пропускают родителей и учителей. Повидимому, не играли они в жизни «знаменитостей» особой роли. Ты тоже их пропустишь?

— Нет, я не пропущу. Во-первых, о родителях. Папа мой погиб в 1942 году. Я его не помню, хотя мне казалось всегда, что помню. Наверное, это ложная память: мне много о нем рассказывали, показывали фотографии. Он играл огромную роль в моей жизни — я всегда считала, что его найду, не верила, что он погиб. Роль отца была в воображении, а мама играла колоссальную роль в жизни, она мне очень много дала. Меня называли «Белкин хвостик» — маму звали Бэлой. Она меня таскала повсюду — в театр, в кино... причем любила такие праздники устраивать, что, если, скажем, был день рожденья, то мы с ней ходили в кино сразу на несколько сеансов. Она так рассказывала про спектакли, которых я не видела, например, про «Пигмалион», что потом, когда я их видела, они на меня меньшее впечатление производили.

— У мамы было время на тебя? Она ведь должна была работать

— папы у вас не было...

— Она много работала, у нее был ненормированный рабочий день, и я ее по неделям не видела.

— Где она работала?

— На радио.

— Диктором?

— Нет, радиожурналистом.

— Лариса, я смутно помню, что у тебя с отцом связана какая-то история... драматическая.

— У меня вышла книга «Золотая симфония», где собрана вся моя автобиографическая проза, там я подробно пишу, как отец погиб.

— Вспоминаю, что он был на фронте неподалеку от Москвы и приехал повидаться с мамой, а его обвинили в дезертирстве и... и... расстреляли?

— Нет, расстрел заменили на штрафбат. И он погиб в первом же бою.

— А если чуть подробнее?

— Отец пошел на фронт добровольцем. Его не брали по двум причинам: очень плохое зрение и плоскостопие. Он добился, чтобы его взяли в военную газету. Когда редакцию этой газеты разбомбили, он решил, что использует время для свидания с женой — они были под Москвой. Добрались с приятелем до Москвы, но мамы не было дома. Тогда, в ожидании ее, он зашел в

кафе Дома литераторов. А там его увидел кто-то из политработников их газеты.

— Короче, его засекли.

— Да. Папу и его приятеля судили и приговорили к высшей мере. Но они обратились с просьбой о помиловании, и за них заступились друзья-сослуживцы: Даниил Данин, Наум Мельман, Евгений Агранович..., а на более высоком уровне Маргарита Алигер и, кажется, Александр Фадеев. Расстрел заменили на штрафбат. Вначале папе повезло: комиссар подразделения увидел, что человек практически слепой, и к боевым действиям его не привлекал, поручил ему писать историю дивизии. Но потом этого комиссара

перевели в другую часть, и папа попал на передовую.

— И он погиб.

— В первом же бою...

— Сколько ему было лет?

— Двадцать семь.

— Понятно, что ты несешь эту историю через всю жизнь.

— Да.

— Лариса, про твоих учителей я кое-что знаю. Знаю, что главным твоим учителем был Арсений Тарковский. Так?

— Дело в том, что Арсений Александрович не считал себя учителем. Помню, когда в 1966-м в Доме литераторов начал работать его семинар, он сказал: «Научить писать стихи нельзя. Не знаю, зачем вы здесь собрались, но, наверное, лучше, чтобы молодые люди приходили сюда, чем толкались на улице».

— Он спасал вас от влияния улицы?

— Да, от «растленного» влияния улицы.

— Так чему же он вас учил? Тебя, например?

— Я тоже считаю, что «литературным» учителем его назвать было нельзя. Я абсолютно уверена, что в поэзии нет ремесла, которому можно научиться. Ремесло есть в театре, в живописи. Там всегда можно научиться каким-то приемам, технике. А в поэзии нет приемов и техники —

только душа. Это состояние души. И научить быть поэтом нельзя. Но в другом плане Тарковский дал мне необычайно много. А в поэзии я не люблю, когда меня называют «ученицей Тарковского».

— Давай буду ловить тебя на слове. Во-первых, о ремесле. Помнишь строчки Каролины Павловой, обращенные к стихотворчеству?

Одно, чего и святотатство
Коснуться в храме не могло;
Моя напасть! мое богатство!
Мое святое ремесло!

Каролина Павлова, недооцененная, как мне кажется, поэтесса, современница Некрасова, назвала сочинение стихов ремеслом, хоть и святым...

— Она назвала, а я не называю. Завидую тем, у кого есть «ремесло». Они, если нет вдохновения, могут поставить перед собой какую-то формальную задачу. Вот моя под-

— Теперь второе. Ты не думала, что техника нужна, чтобы легче выразить себя, свое «состояние души»?

— Это или дано, или не дано.

— А дается от природы?

— Да. Единственное, в чем мы абсолютно совпадаем с Арсением Александровичем, хотя в остальном совсем не похожи, это в любви к точной рифме. Он говорил: «Неточная рифма — это безнравственно».

— Постой. Не будет ли в этом какой-то элемент ремесла? Поиски рифмы, желание, чтобы рифма была обязательно точной... Вот, скажем, Маяковский. Он ведь рифмы подбирал заранее, еще до того как начинал писать стихи. Он их искал, составлял из слогов и слов, конструировал. Рифма была для него одним из главных поэтических средств, его оружием. Рифма и ритм. А сколько ныне так

последние 20 лет всегда получается парная рифма, и, когда говорят: поставь себе задачу избавиться от парной рифмы, — я не могу.

— Я поняла, для тебя это органика, а не элемент ремесла. Но давай продолжим о Тарковском. И так, сочинять он тебя не учил. А чему учил?

— Он был не учителем, а другом. Мы дружили с 1966 года до конца его дней. И это было невероятно важно для меня.

— Какой он был?

— Это был человек, живший на параллельных рельсах с этой системой. Он был отдельным человеком, частным лицом. Никогда не принимал участия в официальных празднествах. Это был великий пример. Он слушал музыку. Читал. Встречался с друзьями — к нему приходили, вокруг него всегда были люди.

— Чем он отличался от других?

— Он был человеком другого поколения. Он родился в 1907 году и всего 10 лет прожил до Октябрьской революции, и все-таки он был скроен иначе — как человек 19-го века.

— У тебя больше не было друзей из того времени?

— Были. Мне повезло. Вот, например, Виктор Андроникович Мануйлов, литературовед, лермонтовед, составитель Лермонтовской Энциклопедии. Он тоже успел сформироваться в другое время. То, что я жила в 60-е годы, было очень важно. Я застала других людей.

— Как ты познакомилась с Мануйловым?

— Не помню. Он очень любил слушать стихи. И любил мои стихи. Он собирал друзей, когда я приезжала к нему в Комарово, и я читала стихи.

— Ты приезжала к нему в Питер?

— И в Питер, и в Комарово, и в Коктебель... А, вспомнила! Я же с ним познакомилась в Коктебеле. В 1961 году я приехала в Коктебель — в первый раз одна. Родственники сняли мне комнатку. И когда я пришла к Марье Степановне¹, там был Мануйлов. Он водил экскурсии.

— Вы познакомились в волошинском доме? Мануйлов работал там экскурсоводом?



Лариса Миллер с сыновьями и Арсением Тарковским. 1978 г.

руга, художница Лена Колат, в какой-то момент решила писать «ню» — обнаженных.

Это целая наука. А пока она ее осваивала, и вдохновение пришло. А я этого не могу — у меня нет никаких формальных задач.

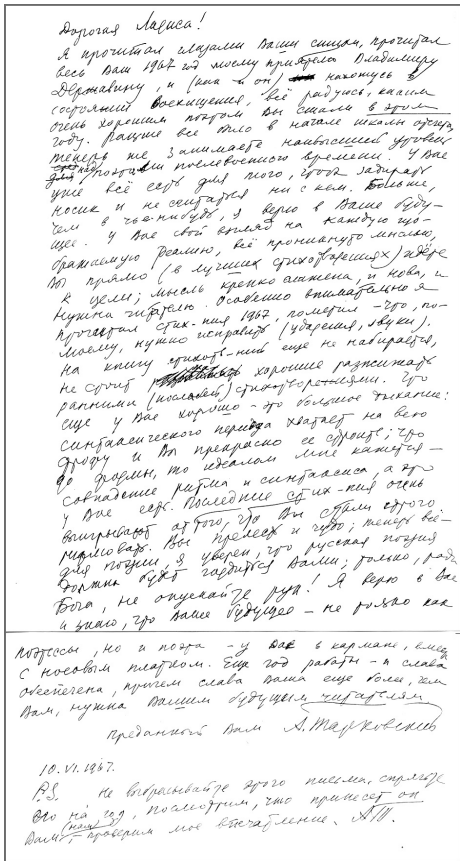
— Например, освоить октаву, начать писать терцинами или придумать новую «неонегинскую» строфу...

— Нет, никогда.

называемых поэтов, которые на чисто лишены дара чувствовать ритм, слышать рифму и радоваться ей. И вот нечто самозванно величает себя поэзией. А на поверку это поток случайных, плохо организованных слов. Тут поневоле закричишь: ремесла!

— Мне бывало говорили: попробуй поменять размер! Я люблю парную рифму — даже не то, что я люблю — она меня любит. У меня





Письмо Арсения Тарковского Ларисе Миллер, 1967 г.

— Он был добровольным экскурсоводом, волонтером. А так он был профессором Ленинградского университета. Тогда в Коктебеле он посмотрел на мою ладошку — он верил в хиромантию — и сказал: «Вы будете писать стихи».

— И сбылось.

— А к тому времени я не написала ни одной строчки всерьез.

— Так. Значит, ты поэт по предназначению. От судьбы не уйдешь. Но давай продолжим о Тарковском. Ты занималась у него в семинаре?

— Да, но он просуществовал меньше года. После этого я осталась у него «в друзьях».

— Лариса, меня всегда интересовал Арсений Тарковский. Хотела бы задать тебе два вопроса о нем. Можно?

— Да.

— Действительно ли Тарковский был тем молодым человеком, которому разгневанный Мандельштам кричал вслед, стоя на лестнице: «А Христа печатали? А

Будду печатали?»

— Нет, конечно. Никакого отношения Тарковский к этому эпизоду не имеет, хотя стихи его очень долго не печатали. Его первая книга вышла только в 1962 году, когда ему было 55 лет. Тарковский много раз рассказывал другой эпизод, как он спросил Мандельштама, почему у него в одном стихотворении² слово «обуян» рифмуется с «Франсуа», а не с «Антуан». На что Мандельштам в ужас воскликнул: «Молодой человек! У вас совсем нет слуха!». И только много позже, уже после смерти Арсения Александровича, Семен Израилевич Липкин сказал мне, что это произошло с ним, а не с Тарковским. Арсений Александрович был веселым человеком и большим выдумщиком. Эта история ему так нравилась, что он рассказывал ее от первого лица. А перед Мандельштамом он преклонялся и написал о нем одно из лучших своих стихотворений³.

— Тут у меня несколько «удивлений». Во-первых, все же рифма «обуян»—«Франсуа» — далеко не точная. Спрашивается: у кого нет слуха? Скорей всего, мэтру в этом случае просто не нужна была точная рифма, к тому же такая тривиальная.

А вот почему ты считаешь, что тот молодой поэт, вслед которому кричал Мандельштам, ни в коем случае не Тарковский? Тарковский вполне мог им быть. И даже если это апокриф, то очень правдоподобный.

Второй мой вопрос о Цветаевой. Как-то я была на вечере Арсения Тарковского в Литмузее. Арсений Александрович, уже очень немолодой, сильно хромающий, был на нем со своей женой. Его попросили рассказать о Марине Цветаевой. Он сделал это сухо и, мне показалось, неприязненно. Запомнилось: «очень некрасивая женщина». Что это? Почему? Ведь в его стихах, к ней обращенных, все иначе... Может, причиной была жена?

— Нет, скорей всего, жена не была причиной. Цветаева была очень увлечена Арсением Александровичем. Он был одним из последних ее увлечений. Он был женат тогда не на Татьяне Александровне,

с которой ты его видела, а на другой женщине, по имени Тоня. Ко времени встречи в Литмузее она давно умерла. Тарковский — человек невероятно благодушный. Он никогда не распространялся о своих романах. Он прекрасно знал, что Цветаева была им увлечена, но никогда об этом не говорил. Рассказывал, что она была широкоплечая, угловатая, быстро ходила, легко взбегала по лестнице. Но о личном — никогда. Возможно, в Литмузее он почувствовал, что вопрос с подтекстом, и сразу оборвал разговор. Вообще Тарковский пользовался колоссальным успехом у женщин, но никогда ничего не рассказывал.

— Какой пример для тех деятелей искусства, которые спешат поведать миру о своих действительных или мнимых «победах»!

— У Арсения Александровича даже было специальное выражение. Он говорил не «личная» жизнь, а «лишняя» жизнь. Мне запомнилось: «Я никогда не буду говорить о лишней жизни».

— Лариса, теперь мы знаем, что тебе предсказали, что ты станешь писать стихи. А когда ты сама осознала себя поэтом? Был такой момент?

— Поэт — слишком высокое слово. Я не говорю о себе, что я поэт. Говорю, что пишу стихи. В детстве я сочиняла, но серьезно к этому не относилась. Начала по-настоящему довольно поздно, в 22 года.

— Ну, не так чтобы очень поздно...

— К этому времени кончила институт, вышла замуж...

— То есть ты выполнила некоторую жизненную программу. И что? Что было дальше?

— Дальше я начала мучиться и просыпаться с болью в сердце: я не понимала, зачем живу.

Это было невыносимо. Я думала: Боже, неужели я живу, чтобы преподавать английский язык? Это же не предназначение! Профессия, но не призвание. И в какой-то момент я присела на скамеечку на Рождественском бульваре — и написала первое стихотворение.

После этого я начала писать.

— Тебя заметили? Ободрили или обругали, как часто бывает?

— Самым главным счастливым

событием моей жизни стала встреча с Тарковским и письмо, которое он мне написал.

— Лариса, отсканируй письмо Тарковского и пришли мне. Думаю, читателям будет интересно узнать, что написал тебе человек и поэт такого масштаба.

— Я летала, была невероятно счастлива.

— Это было при самом начале?

— Это было в 1967 году. К этому времени я писала уже пять лет.

— Так это начало. Книги ведь у тебя еще не было?

— Моя первая книга вышла только через 10 лет, в 1977 году.

— В этом ты — ученица своего «друга», Арсения Александровича Тарковского. Вот ты сказала, что работа учителя английского языка тебя не удовлетворяла. Есть у тебя еще одна профессия: преподаватель женской гимнастики. Связываются все эти три дела — имею в виду еще и стихотворство — в один узел? Или английский язык и гимнастика — «лишняя жизнь», по выражению Тарковского, и говорить о них не стоит?

— Движение для меня — чрезвычайно важная вещь. Все детство я хотела двигаться. Мама водила меня в Ансамбль Моисеева, — я была маленькая, худая, колени торчали — и он сказал: «Откормите ребенка, а потом приводите!»

— Святые времена! Тогда балерин еще надо было откармливать!

— Родив сына, я сильно поправилась. И тут движение стало мне просто необходимо. Моя подруга Лена Колат, о которой я уже говорила, отвела меня в Дом ученых на занятия гимнастической студии.

Это была «алексеевская гимнастика». Она так называлась по имени ее создателя — Людмилы Николаевны Алексеевой.

— Ты застала саму Алексееву?

— Нет, она к тому времени уже пять лет как умерла. Но ее ученики вели занятия по разработанной ею системе. Я увидела — и поняла: никогда отсюда не уйду. И так я там и осталась. С 1969-го занимаюсь алексеевской гимнастикой сама, а с 1980-го ее преподаю.

— Как это сочетается со стихотворством?

— Было время, когда гимнастика даже соперничала со стихами. Тяга к движению была у меня сильнее, чем желание писать стихи.

— Тогда скажи: получается, что движение имеет и внутренний смысл?

— Знакомый поэт, Алеша Королев, как-то мне сказал: «По твоим стихам чувствуется, что ты двигаешься. В них есть полет, жест».

— Я о другом. Если гимнастика способна заменить творчество — сочинение стихов — тогда она сама неизбежно должна быть творчеством.

— Одно время я увлеклась созданием новых этюдов. У Алексеевой в запасе их было около трехсот, а я еще добавила примерно шестьдесят. И вот я сочиняла эти этюды — и вообще больше ни-

чего не видела и не слышала. Концертмейстер записывал музыку, а я сочиняла, сочиняла... Летом уезжала с кассетами на дачу и там придумывала эти упражнения.

— Сейчас в Переделкине ты во время прогулок сочиняешь стихи.

— А тогда я решала, чем лучше заняться: стихи сочинять или этюды гимнастические?

— Это что-то совсем новое, Лариса. Какой-то новый взгляд на движение. И взгляд очень важный для нашего времени. Не механическое повторение одних и тех же движений, чтобы решить примитивную утилитарную задачу, — сбросить лишний вес, а движение как творчество, как импульс для жизни.

— Алексеевская гимнастика уникальна, ее нельзя назвать ни физкультурой, ни спортом. Она ближе к танцу, к искусству. И музыка там самая разная — классическая, народная... Каждый этюд закончен, имеет свое развитие завязку, кульминацию, развязку. Это маленький театр.

— Лариса, представляешь, сколько новых последователей может появиться у алексеевской гимнастики среди подписчиков «Чайки»? Я поняла, что поэзия и гимнастика у тебя сопрягаются и даже произрастают из одного корня. А английский язык сопрягается с ними или он «лишний»?

— Английский не сопрягается. Когда-то он мне мешал писать стихи. Мне нужно было жить в русском языке, чтобы писать. Потом я привыкла — и он перестал мне мешать. Но это средство зарабатывать на жизнь — и только.

— Лариса, ты живешь в стихии русского языка, ты российский поэт. А еврейская тема тебя волнует?

— У меня есть несколько стихотворений на эту тему. Среди наших друзей много тех, кто уехал в начале 70-х. Но я не хочу слишком сосредотачиваться на этой теме, не хочу быть «профессиональной еврейкой».

— Хорошо сказано. Кстати, ведь существует образ «профессиональной цыганки». Эдакая гадалка в монистах... Я такую видела по



Лариса Миллер с семьей, 1976 г.



ТВ в Италии, ее превосходно играла итальянка. А вот существуют ли «профессиональные еврейки», — это вопрос.

Но перейдем к поэзии. Когда подряд читаешь твои стихи, видишь, что они по большей части грустные и даже трагические. Что ты — поэт Лариса Миллер — говоришь миру: да или нет?

— Конечно, да. У меня нет желания «творцу отдать билет». Последнее время мои стихи стали светлее, особенно в книжке «Сто оттенков травы и воды». Ты говоришь, трагические стихи? Был у меня знакомый психотерапевт — он лечил пациентов моими стихами.

— Могу этому поверить. В твоих стихах живет противоречие между формой и содержанием. Форма у них удивительно легкая, светлая и гармоничная.

— Может, форма и делает их светлыми, врачующими? Я думаю, что форма играет в них решающую роль.

— Прямо по Льву Семеновичу Выготскому: гармоничная форма преодолевает и снимает всю ту жизненную накипь, что осела в стихах.

— Да, наверное, форма преодолевает трагизм.

— Лариса, я тебя очень о многом не спросила. Есть ли у тебя что-то, чем бы ты хотела поделиться с читателем?

— Нет, не приходит в голову.

— А, понятно. Оставляешь для стихов. Пусть не скудеет их источник!

¹ Вдова Максимилиана Волошина
² «Довольно кукусься! Бумаги в стол засунем!»
³ «Поэт» (Эту книгу мне когда-то/ В коридоре Госиздата/ Подарил один поэт...).

ПОЭЗИЯ



Лариса Миллер

Десять стихотворений

Как под яблоней неспелый,
Несъедобный плод лежит...
Видит Бог, хочу быть смелой,
А душа моя дрожит.

И чего она боится
Под неспелых яблок стук?
Страшно ей, что жизнь продлится,
Страшно, что прервется вдруг.

С любовью к зябким вечерам,
К роскошным яблочным пирам,
К смолистым запахам древесным,
К речным, озёрным водам пресным,
С любовью в сердце я живу
И не ступаю, а плыву
В осеннем воздухе прозрачном
В вечерний час в посёлке дачном.

Плачется мне. Хорошо нынче плачется.
Плачет со мной сыроватый апрель.
Солнце за тучку небесную прячется,
Детский кораблик садится на мель.
В этих широтах сто лет зимовали мы,
Светлый апрель избавленья принёс.
Манит он нас бесконечными далями,
Теми, что мне не видать из-за слёз.

Погляди-ка, мой болезный,
Колыбель висит над бездной,
И качают все ветра
Люльку с ночи до утра.
И зачем, живя над краем,
Со своей судьбой играем,
И добротный строим дом,
И рожаем в доме том.
И цветет над легкой зыбкой
Материнская улыбка.
Сполз с поверхности земной
Край пеленки кружевной.

А чем здесь платят за постой,
За небосвода цвет густой,
За этот свет, за этот воздух
И за ночное небо в звездах?
Все даром, говорят в ответ,
Здесь даром все: и тьма, и свет.
А впрочем, говорят устало,
Что ни отдай, все будет мало.

То облава, то погрова.
Выжил только третий справа.
Фотография стара.
А на ней юнцов орава.
Довоенная пора.
Что ни имя, что ни дата —
Тень войны и каземата,
Каземата и войны.
Время тяжко виновато,
Что карало без вины,
Приговаривая к нестям.
Хорошо быть справа третьим,
Пережившим этот бред.
Но и он так смят столетьем,
Что живого места нет.

Но в хаосе надо за что-то держаться,
А пальцы устали и могут разжаться.
Держаться бы надо за вежи земные,
Которых не смыли дожди проливные,
За ежесекундный простой распорядок
С настольною лампой над кипой тетрадок,
С часами на стенке, поющими звонко,
За старое фото и руку ребенка.

Нельзя так серьёзно к себе относиться,
Себя изводить и с собою носить,
С собою вести нескончаемый бой,
И в оба глядеть за постылым собой,
Почти задохнувшись, как Рим при Нероне.

Забудь бы себя, как багаж на перроне.
Забудь, потерять на огромной земле
В сплошном многолюдьи, в тумане, во мгле.
Легко, невзначай обронить, как монету:
Вот был и не стало. Маячил и нету.

Кнудом и пряником. Кнудом
И сладким пряником потом.
Кнудом и сдобною ватрушкой...
А ежели кнудом и сушкой,

Кнудом и корочкой сухой?
Но вариант совсем плохой,
Когда судьба по твари кроткой —
Кнудом и плеткой, плеткой, плеткой.

Не вмещаю, Господи, не вмещаю.
Ты мне столько даришь. А я нищаю:
Не имею ёмкости, нужной тары
Для даров твоих. Ожидаю кары
От тебя за то, что не стало мочи
Всё вместить. А дни мои всё короче
И летят стремительно, не давая
Разглядеть пленительный отблеск края
Небосвода дивного в час заката...
Виновата, Господи, виновата.

